

О закрой свои бледные ноги

Валерий Брюсов

Глава 1

ЩЕЛОК, ЛАВАНДА И ЖИР

Вся эта полифония ночи...

Если это не музыка, то что это? Сон?

О кошмарах пока говорить рано.

От кошмаров порой помогают таблетки.

Но порой и не помогают, увы...

Самый глухой темный час, но Москва не спит. Москва вся в рекламных огнях, фонарях, осеннем дожде, облаках, разорванных ветром в клочья, звездах, которых не видно.

Словно огромный оркестр настраивает инструменты — шум машин с Андроньевской площади, грохот и звон трамвая, натужно поднимающегося в горку Андроньевского проезда. Музыка по телевизору, включенному где-то на нижнем этаже кирпичного дома, где не спят старики, мучаясь бессонницей.

Крики ворон, угнездившихся в кронах старых, словно нечесанных, лохматых тополей в саду церкви.

Ворон будит по ночам яркий свет рекламного панно, и они хрипло каркают, словно надсадно кашляют.

А может, это кашель за стеной...

И звон. Легкий, тонкий, как звук челюсты, звон хрусталя.

Хрустальные подвески на люстре? Да, и они — звучат, еле заметно подрагивая. Это от того, что трамвай, лязгая и стуча колесами, опять поднимается в горку от Волочаевской улицы к монастырю.

Волочаевская улица — вся в серых многоквартирных домах, дворы закрыты шлагбаумами. Переулки в этот час тихие, словно мертвые. И свет горит лишь в редких окнах.

А подвески люстры под высоким лепным потолком звенят, зовут в ночь.

И не только они. Изящные старинные хрустальные флаконы из-под духов, собранные, выставленные на полках французского шкафа-витрины, подают свой голос — звон каждый раз, когда по Андроньевскому проезду грохочет трамвай.

Когда в этой комнате, на паркете, покрытом лаком, прыгали, плясали, играли в догонялки дети, флаконы за стеклом шкафа-витрины тоже пускались в пляс.

Разноцветное стекло — розовое, синее, золотистое, прозрачное. Но это всего лишь пустая тара. Эти флаконы никогда не были заполнены настоящими духами.

Потому что ФАБРИКА свои духи так и не создала.

На фабрике варили мыло и делали крем. Производили лечебную косметику.

А потом много чего другого, потому что время шло, все менялось, в том числе спрос и конъюнктура.

На полках шкафа-витрины и сейчас можно увидеть прелестные жестяные коробочки для мыла, украшенные пухлыми херувимами, пленительными пышнотелыми дамами с букетами роз и просто цветами — каскадом, водопадом цветов, намалеванных прямо на жести.

Хризантемы... Это мыло «Гейша».

Розы... Это мыло «Шираз».

Сирень... Ох, это конкуренты — мыло «Персидская сирень», фабрика Брокера.

Брокеру в этих стенах всегда желали удавиться в намыленной петле. Только вот чтобы мыло для веревки было своим, фабричным. Потом это, правда, стало неактуально, потому что Брокер сгинул сам по себе.

Фиалки... Это мыло «Парма».

Полынь... Да, да, полынь, такая проза, трава... Но это знаменитое мыло «Луговое», самое демократичное и популярное после «мыла от перхоти». Его покупали когда-то все: и гимназисты, и офицеры, и барышни, и сановники, и купцы, и мещане, и актеры Больших и Малых Императорских театров — и даже на Хитровку его привозили в целях благотворительности, и в простонародные бани.

Там такая зеленая жестяная коробочка и на ней трава — полынь. А для бедных его вообще заворачивали в грубую бумагу.

Гвоздика... Мыло для господ «Осман-паша».

Мак... Мыло «Лауданум».

Его потом хотели со скандалом изъять из производства, потому что опий есть опий, даже в мыле.

Лаванда... Мыло «Прованс».

И оно, это мыло...

О, не надо, не надо, не надо, нет больше сил, когда это снится!

О, пожалуйста, не надо, я вас прошу, я вас умоляю!
Это же так страшно.

Эти кошмары... Вот опять...

Звон хрустала.

Грохот трамвая.

Темная ночь.

Стон.

Женщина в широкой, как море, двуспальной кровати заворочалась, заметалась на подушках. Она стонала, почти кричала во сне. Кричала от страха и боли.

Электронные часы-будильник на широком мраморном подоконнике показывали 3.33.

Колдовское время, когда открывают глаза все ночные чудовища, все страхи, все наши самые тайные

кошмары и фобии. Жуткие, желтые, горящие во тьме глаза... И плятятся, плятятся из тьмы, скалясь окровавленными клыкастыми ртами.

Эти твари...

Кошмары...

Женщина в кровати повернулась на бок, подтягивая колени, корчась, сжимаясь в позе эмбриона, словно пытаясь спрятаться, зарыться в подушки и матрас. Одежда свесилось до пола.

Пустая темная спальня. Незашторенное окно. На ковре, на самой середине, сброшенные лодочки «Шанель». Сумка «Шанель», открытая, словно в ней лихорадочно что-то искали перед сном... Что? Конечно же, таблетки, чертовы пилюли...

Голубое платье из тонкого кашемира, кружевной лифчик, трусики — все комом на полу. Тут же у кровати — пустая бутылка белого вина «Шабли».

Все это — самая обычная картина для этой спальни. Как и бутылка, как и рассыпанные по паркету таблетки.

Но эти средства давно уже не помогают. Ни черта вообще не помогает, когда вот так кричишь, стонешь и корчишься во сне, потому что...

Сон...

Кошмар...

Он такой вкрадчивый...

Он такой реальный, такой осязаемый.

Такой горячий, горячий, как вар.

Вар и пар. Щелок и жир. И еще лаванда, эта чертова лаванда, ей так пахнет, так воняет!

Так воняет этой душистой лавандой — гордостью Прованса, что глаза слезятся и в горле першит.

И вроде как ничего не видно поначалу в этом ночном кошмаре. Потому что пар... Едкий пар наполнил фабричный цех.

Но дальше все же можно разглядеть главные детали.

Железные балки под высоким потолком цеха, еще не тронутые ржавчиной. И на них — стальные цепи с крюками, чтобы цеплять формовочные емкости и отправлять по балкам, как по рельсам, в формовочный цех.

Пол, выложенный крепкой каменной плиткой. Плитка вся мокрая. Потому что чаны полны, в них все кипит и бурлит и выплескивается наружу, словно из ведьминового котла.

Три огромных чана. Щелок, жир...

Жир, щелок...

Брикеты лаванды тут же в железной тачке, но лаванду в чаны пока еще не добавляли. Это позже.

Нечем дышать от всепроникающей вони. Как бы описать эту вонь поточнее? Ведь кошмар — он весь соткан не только из зрительных образов, но и из запахов. И это самое страшное. Когда женщина просыпается с воплем ужаса, она все еще чувствует этот запах, словно вкус на языке.

Щелок — запах золы, разведенной в кипятке.

Жир...

А вот тут сложнее. Потому что вонь такая, словно варят крепкий бульон. Варят какое-то мясо в одном из клокочущих чанов.

Во сне она всегда видит то, что там плавает.

Мутная жижа. Но так всегда на первых этапах, когда варят мыло.

В чане что-то булькает, с глухим треском лопается. Это лопаются бедренные кости или ребра.

Или лопается череп, и кожа и плоть сходят с голой кости клоками.

Из кипящей клокочущей воды показывается рука — чудовищного вида, багровая, вываренная, со скрюченными пальцами.

Багровая пятка, колено, плечо.

Голова.

И тут же откуда-то со дна выныривает еще одна голова в ореоле спутанных темных волос.

Пустые глазницы. Сваренная заживо плоть.

Женщина в кровати кричит во сне так громко, что ее, наверное, слышно на улице. Кричит так, словно ее пропороли штыком.

Но Безымянный переулочек в этот ночной час пуст.

Безымянный переулочек хранит свои тайны.

И любит кошмары.

И тайн и кошмаров у Безымянного переулочка немало.

Глава 2

РЕЦЕПТ ПАРФЮМЕРА И БЕЛЫЕ ГОЛУБИ

19 декабря 1907 года

Яков Костомаров проснулся в своей спальне от шума — внизу в детской громко плакал ребенок. Это сын покойного брата Иннокентия Костомарова — крошка двух с половиной лет.

В детской уже всю суетились няньки, ими командовала вдова брата. Россыпь быстрых шагов по лестнице вниз — это семилетняя дочка брата, не слушая свою гувернантку-француженку, выскочила из классной и ринулась в детскую. Она не терпела, когда малыш плакал, и всегда принимала самое активное участие во всей этой чисто женской домашней суете.

По булыжной мостовой Андроньевского проезда, спускаясь под горку, громыхали пролетки.

Яков Костомаров сел в постели, спустил ноги в шелковых кальсонах на персидский ковер и почесал всклокоченную потную голову. Потом лениво потянулся к золотым часам — брегету, свисавшему из кармана жилета, небрежно брошенного на спинку кресла.

Одиннадцать часов.

Когда был жив отец, когда был жив старший брат Иннокентий, Яков никогда не вставал так поздно. Шесть утра — они все уже были на ногах. Фабрика диктовала свой рабочий график. Купцы первой гильдии Костомаровы поднимались с первыми петухами. Яков и теперь так поступал, сделавшись после смерти отца и брата единоличным владельцем фабрики.

Но в это утро проспал. Тому имелась причина. Даже две. Вчерашний поздний банкет в Купеческом клубе и... сегодняшней длинный многотрудный день, который потребует много сил. Да, немало сил. Поэтому купец Яков Костомаров запретил себя будить в это утро.

Суббота. Фабрика работала и по субботам. По воскресеньям рабочие отдыхали. А по субботам Яков Костомаров установил восьмичасовой рабочий день вместо десятичасовой смены в будни.

Он поднялся, наступил на жемчужную запонку, выпавшую из крахмальной сорочки, брошенной там же, где и жилет, и брюки английского сукна в полоску. Он не обратил на запонку никакого внимания — горничная положит на камин, когда станет делать уборку в спальне. И прошел в туалетную комнату. Уборную по английскому принципу — «дерни и смой» — оборудовал в их доме в Безымянном переулке еще покойный отец.

В туалетной имелось окно. Оно выходило в сад, на задний двор. За голыми деревьями были видны крыши цехов фабрики — отсюда и до самой железной дороги. А там уже начинались цеха и бараки завода Гужона.

Налив в фаянсовый таз воды из кувшина и ополоснув руки и лицо, Яков Костомаров взял в руки кусок мыла, лежавшего рядом с тазом в фарфоровой мыльнице.

Мраморное мыло. Без всяких цветочных отдушек. Собственного производства. Его любимое. Почти такая же гордость их костомаровской мыловаренной фабрики, как и мыло от перхоти, сделавшее его отца богатым и знаменитым промышленником. На базе этого мыла брат Иннокентий придумал минеральную пудру. И они начали продавать специальные косметические наборы в одной коробке — мыло и пудра. Потом к этому добавились еще крем и румяна.

Брат Иннокентий тоже весьма прославился — эти-ми вот наборами. Они заработали на них два миллиона. Но брат скоропостижно умер от инфаркта в самый разгар московского восстания, когда на Красной Пресне палили из пушек. И теперь его черед, Якова, продвигать новые продукты костомаровской парфюмерии. Мыло — это отец, пудра и наборы — брат. А он должен прибавить к этому духи. Неповторимый аромат. Недаром же он учился во Франции на парфюмера. А до того почти пять лет изучал химию в Кембридже и Марбурге.

Он вышел из туалетной, на ходу надевая домашний, расшитый золотом бухарский халат и подпоясываясь. Глянул в окно.

Безымянный переулоч. На той стороне — новый дом из красного кирпича. Они специально построили его для инженерно-технического персонала фабрики. Просторные пятикомнатные и шестикомнатные квартиры занимали целые этажи. А всего этажей — шесть. Высокий дом для Безымянного переулочка. В этом доме жили инженеры-немцы. Яков Костомаров им хорошо платил. Они знали свое дело, следили за производ-

ством, оборудованием. И в прочие дела фабрики не влезали.

Если глянуть из окна налево, то можно было увидеть стену Андроньевского монастыря, а рядом по берегу ручья Золотой Рожок — дощатые бараки, там жили рабочие. Никакой скученности, никаких грязных нар, помещений трущобного вида, которые имелись в бараках соседнего завода Гужона. В бараках жили по две-три семьи. Всего двадцать девять человек — рабочие фабрики вместе с женами, кто до сих пор был женат.

Они и составляли Корабль. Что-то вроде общины, куда чужих не допускали.

Яков Костомаров причесался перед зеркалом. Несмотря на свои тридцать лет, он уже начал лысеть. И борода почти не росла. Он ощущал сухость и першение в горле. Делами Корабля он займется поздним вечером. После смены рабочие сначала пойдут в баню — он еще накануне распорядился, чтобы туда привезли в достатке «Лугового» и «Дегтярного» мыла.

А у него на два часа назначена встреча с Семеном Брошевым, которому он в принципе ничего плохого не желает. Нет, нет, исключительно хорошие пожелания...

Семен Брошев почти закончил свои метания, духовные искания, вылез наконец-то, выпростался, как младенец из последа, из своей долгой тяжелой депрессии и решил обрести новый духовный путь.

Решил убелиться.

То есть примкнуть к Кораблю уже не на словах, не в пустой болтовне, а по-настоящему. Плотски.

Ну что ж, Яков Костомаров был этому рад.

Но в горле...

В сердце...

Ах нет, все же в горле и ниже, там, за грудиной, что-то саднило и свербило, замирало и даже испуганно екало.

Нет, это не от трусости и малодушия, а всего лишь от выпитого вчера на банкете в Купеческом клубе вина. Вино было превосходное, но он вообще очень редко пил в силу своей приверженности Кораблю. Только в целях маскировки, чтобы не заподозрили. Нет, и из удовольствия тоже, потому что вино было превосходное. И банкет вчерашний, который Купеческое собрание давало в клубе на Большой Дмитровке в честь бывшего генерал-губернатора Москвы адмирала Федора Дубасова, тоже, как говорится, удался на славу.

Если бы не один инцидент в курительной.

Он и испортил все впечатление от торжества.

Яков Костомаров опустил в кресло у окна. Глядел на Безымянный переулок. Завтракать ему не хотелось, да его и так ждет поздний завтрак с Сеней Брошевым, единственным сыном и последним в роду наследником купцов Брошевых-Шелапутиных, владельцев фармацевтической фабрики на Вороньей улице и двух медных рудников на Урале.

Выпитое вчера на банкете вино отзывалось кислым вкусом во рту. Яков Костомаров вспомнил, как они все сидели за длинным столом в банкетном зале — цветы в хрустальных вазах, огни хрустальных люстр, богемское стекло, серебро и...

Этот скрипучий звук, когда лакей вкатил деревянное инвалидное кресло с бывшим генерал-губернатором Москвы Федором Дубасовым.

И они увидели не бравого адмирала, железной рукой подавившего московский бунт, а тощего старика с жалко трясущейся головой и скрюченными, изуродованными ногами.

Вспомнил, как они встали все, приветствуя Дубасова. Вспомнил громкий тост, подхваченный вроде бы с единым всеобщим воодушевлением: «Здоровье его превосходительства!»

Вкус вина...

И шепот, тихий и ехидный, соседей справа, наследников клана Боткиных и Солдатенковых:

«Полная развалина... А он думал, ему так все с рук сойдет, что он тут в Москве натворил. Сколько народа расстрелял! Бог — он все видит. И с палачами не церемонится. Держу пари, двух лет не протянет, откиннет копыта».

Полной развалиной в инвалидном кресле бывший генерал-губернатор столицы Федор Дубасов стал после двух покушений эсеров. Его изрешетили пулями, как мишень в Таврическом саду, и еще бросили бомбу, осколки повредили позвоночник и ноги. При нем постоянно дежурил лакей и носил его на руках, как дитя, с инвалидного кресла в уборную на горшок.

Дубасова, конечно, мыли и меняли ему белье, но этот запах застарелой мочи — результат недержания — Яков Костомаров чувствовал его, как и все в этом зале Купеческого клуба. Его бы воля, он намылил бы трясущегося генерала мылом собственной фабрики прямо там, за столом. Чтобы от него не воняло.

— Спасибо, спасибо! — Растроганный Дубасов кивал трясущейся головой. — Спасибо, Москва. Спасибо, что не забываете меня!

На глазах его выступили слезы. Официанты начали обносить гостей за столом закусками и вином.

Все ели и пили и как ни в чем не бывало провозглашали тосты.

А в конце — уже в курительной клуба — случился громкий инцидент.